ПЕРЕД ЗАПРЕТНОЙ ЧЕРТОЙ

Константин Симонов: часовой при эпохе

В феврале 1965 года в мой почтовый ящик бросили письмо. Я жил тогда во Владимире. Письмо было из Москвы.

К моему большому удивлению, в том месте, где пишется обычно фамилия отправителя, значилось: Константин Симонов.

Письмо было напечатано на машинке, и в конце его стояла подлинная подпись Симонова.

Вот это послание:

«Уважаемый Игорь Петрович!

Захотелось написать Вам, прочитав в первом номере "Вопросов литературы" обзор прозы 1964 года. Среди всего, что я прочёл, для меня самыми интересными были Ваши соображения. И те, которые касаются общих процессов литературы, в частности, военной, и те, которые касаются моей книги.

Я без всякого удовольствия, напротив, с огорчением прочёл тот абзац в редакционном заключении, который касается меня и Вас. С особой скорбью прочёл я фразу, в сущности, сводящуюся к тому, что раз "критика единодушно отметила, что сей роман "одно из самых значительных произведений года", то, стало быть, негоже никакому отдельно взятому критику сосредотачивать своё внимание главным образом на том, что в оном романе слабо". А почему, собственно, негоже?..

Я отнюдь не с каждым Вашим словом согласен, но в то же время Ваши замечания наводят меня на мысли, которые мне кажутся важными и полезными для той новой работы, которую я сейчас делаю. За это спасибо.

С товарищеским приветом

*Константин Симонов*.

Москва 29 января 1965 г.»

Я никак не ожидал, что мой критический «налёт» на роман «Солдатами не рождаются» вызовет у автора желание объясниться. Поступок Симонова меня тронул. Письмо знаменитого писателя литератору из провинции – такое не часто бывает. Я ответил, что буду рад, если мои замечания помогут ему в дальнейшей работе.

После явного успеха «Живых и мёртвых» (1959) роман «Солдатами не рождаются» воспринимался как ещё один прорыв в литературе о войне. В газетах и журналах писали, что Симонов идёт вперёд. На мой взгляд, он действительно продвигался, но исключительно в наращивании фактов. Мысль его при этом буксовала где-то у них в тылу. Об этом я и сказал в своём выступлении в «Вопросах литературы».

Честно говоря, я думал, что после обмена письмами наши отношения прекратятся. Но через некоторое время раздался звонок из «Литературной газеты». Звонивший мне редактор просил встретиться с Симоновым и написать статью для рубрики «Писатель за рабочим столом». При этом он добавил, что таково пожелание самого Константина Михайловича. Я согласился и поехал в Москву.

Симонов принял меня на своей квартире возле метро «Аэропорт». Теперь на этом доме висит мемориальная доска.

Он был радушен, внимателен и настороженно-откровенен. Меня это не смутило: всё же мы виделись в первый раз. Я, впрочем, предупредил его, что пришёл к нему не как интервьюер, а как литератор, который собирается писать о его военных романах. Я смотрел на эти романы как на фотопортрет эпохи. И эпоха, как она отразилась в его прозе, и эпоха без Симонова интересовали меня более всего.

Первый роман «Товарищи по оружию», посвящённый военным действиям на Халхин-Голе, ввиду его очевидной слабости я отбрасывал сразу. Оставались «Живые и мёртвые» и «Солдатами не рождаются».
О них мы и повели речь.

Вспоминая сейчас эту встречу, я вижу, что говорил по преимуществу не хозяин, а гость. Мне хотелось убедить Симонова, что он подошёл к черте, которую, быть может, никогда не переступал. И что ему нужно её переступить. Я не знал тогда, что требую от него невозможного.

Симонову в ту пору ещё не исполнилось пятидесяти. Он был красив красотой зрелого мужчины. Высокий рост, седина в короткой молодящей его стрижке, тёмные брови, тёмные усы, трубка, по-дворянски не выговариваемое «р». Запах душистого и, наверное, очень дорогого табака плавал по кабинету.

Не скрою, я волновался. О Симонове я знал с детства. Во время войны читали его стихи. Один за другим появлялись фильмы по его сценариям. Стихотворение «Жди меня» стало чуть ли не фронтовой молитвой.

Валентина Серова, которой Симонов посвятил это стихотворение, была любимой актрисой тех лет. Симонова изучали в школе, его портреты не сходили со страниц газет. Вместе с тем я знал, что его верная служба была оплачена шестью Сталинскими премиями.

Всё это создавало облик человека, о котором вряд ли можно было сказать правду в газете. Но там, очевидно, надеялись, что я задам Симонову вопросы, он на них ответит и потом – когда ему представят готовый текст – его выправит.

Мне понравился его кабинет. Всё здесь выглядело по-спартански скромно: полки с книгами, тахта, письменный стол. На столе нет привычного для писателя беспорядка. В углу стола стоит миниатюрный микрофон. Я слышал, что Симонов надиктовывает свои книги.

В какую-то минуту Симонов посмотрел на меня, решительно встал от стола и приблизился к стеллажу с книгами. Затем нажал на выступе полок какую-то кнопку. Квадрат с книгами отошёл в сторону (это был муляж), и в глубине его, в стене, я увидел стальной сейф.

Симонов открыл сейф и вынул из него объёмистую папку. На ней крупными буквами было написано: «О Сталине».

Чувствовалось, что этой папкой он особенно дорожит. Я попросил разрешение заглянуть в неё. Здесь были собраны ещё не известные никому воспоминания о вожде. Симонов сам их записывал со слов
Г.К. Жукова, маршалов и генералов, не раз встречавшихся с Верховным главнокомандующим.

Он и свои заметки о нём хранил здесь. А ему было что вспомнить. Всё же он побывал в кабинете Сталина в Кремле не меньше шести раз. Не знаю, опубликовано ли содержимое этой папки сегодня, но то были бесценные свидетельства, которые, повторяю, Симонов собирал сам.

Сталин был для него глубоко личной темой. С этим именем он рос, стал писать, ушёл на войну, вернулся с неё невредимым и в орденах (и было ему в 45-м всего тридцать лет), а когда Сталин умер, откликнулся на эту смерть полными горечи стихами:

Нет слов таких, чтоб ими описать

Всю нетерпимость горя и печали.

Нет слов таких, чтоб ими рассказать,

Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин.

Такого Симонова вывел в своём романе «В круге первом» Александр Солженицын.

Имя Сталина притягивало, и имя это страшило. Всё могло случиться в его биографии, и это *всё* – зависело от благосклонности или, наоборот, неблагосклонности грозного патрона.

А то, что их отношения были отношения патрона и подчинённого, факт.

Оттого в нужное время (когда началась холодная война) он бичевал Америку (пьеса «Русский вопрос»), войну во Вьетнаме, отечественных космополитов (1949 год).

Это был не столько писатель, сколько *часовой при эпохе* со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он точно знал, что в данную минуту *требуется и можно* писать.

Существовало, впрочем, ещё одно обстоятельство, которое заставляло его всё время быть начеку. Во всех автобиографиях Симонов упоминает о своём отчиме, командире Красной армии, но ни слова не говорит об отце.

Даже в предисловии к собственному собранию сочинений, вышедшему незадолго до его смерти, он сообщает читателю, что был избираем в Верховный Совет, был секретарём Союза писателей, членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, о своих премиях и наградах.

И ни слова – о родном отце.

Меж тем отец его, Михаил Агафангелович Симонов, родившийся в 1871 году, был дворянин, выпускник Императорской Николаевской военной академии. Полковник Отдельного корпуса пограничной стражи, в 1915 году (год рождения Константина Симонова) – командир пехотного полка, награждённый Георгиевским оружием. После этого – начальник штаба армейского корпуса, а с декабря 1915 года (Симонов уже появился на свет) – генерал-майор царской армии. С матерью Симонова они поженились в 1912 году.

Последние сведения о Михаиле Симонове относятся к 1920–1922 годам и говорят о его эмиграции в Польшу. В начале 20-х годов он зовёт жену с сыном приехать к нему. Но она отказывается, сыну оставляет фамилию и отчество отца, а сама до этого (в 1919 году) выходит замуж за красного командира Иванишина.

Мог ли Симонов не знать этого? В четыре года, когда мать вышла за отчима, мог и не знать. Но, выросши, безусловно, знал. Мог ли не знать, что его мать – урождённая княжна Оболенская из знатных калужских дворян? Трудно в это поверить.

Тогда, не скрывая этого, мог ли он достичь тех высот, которых достиг?

Тайна детства невольно взывала к гибкости, к подчинению указаниям свыше, наконец, вылепила характер Симонова. Это научило его молчать в тех случаях, когда откровенность грозила опасностью. Детство – великий локатор, на экране которого виден весь человек.

Как я сказал, он закончил войну в 30 лет. Он ни разу не был ранен, хотя пропадал на передовой. В отличие от других корреспондентов центральных газет (исключая Андрея Платонова) он предпочитал окоп штабу и солдата – командованию. Хотя знал, конечно, лучше жизнь комдивов и комкоров, нежели рядовых.

Вращаясь в кругу комсостава, он и сам стал одним из генералов литературы. Он был богат, удачлив. Ходили слухи, что у Симонова открытый счёт в банке.

Но это была свобода на привязи. К моменту, когда мы встретились, Симонов стоял перед следующим романом, который должен был завершить его, если считать «Товарищей по оружию», тетралогию. Роман этот, как он мне сказал, будет посвящён окончанию войны, а точнее 45-му году, взятию Берлина и Победе.

Я спросил, что он думает сделать с Серпилиным, главным героем романа «Солдатами не рождаются», бывшим зэком, а ныне командующим крупным соединением? Куда пойдёт этот человек? Что, наконец, поймёт? Ведь он и так уже *подошёл к черте*, за которой его ждёт пересмотр прежних верований. Прощаясь со Сталиным, который принял его в Кремле, Серпилин покидает его в смятении.

Он просит за своего невинно арестованного товарища и понимает, что Сталину это не нравится. Он не уверен, что его просьба будет удовлетворена.

Что при этом он должен сказать себе?

Но он, как и автор, предпочитает молчание.

Подумав недолго, Симонов предположил, что развитие его героя «пойдёт по нарастающей». В новом романе он покажет конфликт Серпилина с особистами, перлюстрацию писем на фронте, покажет, с какими жертвами брали Берлин и то, что солдаты весной 45-го не хотели умирать.

И всё же что станет с Серпилиным? – настаивал я. Симонов снова умолк. «Может быть, он зазнается», – выговорил он, наконец. Я был обескуражен. И это развитие «по нарастающей»? Развитие, как его понимал Толстой, было чуждо его героям. В лучшем случае они поступали так, как требует идеологическая схема, а не их душа.

Я, как и его читатели, хотел не событийного продолжения, а качественного скачка, ибо Симонов подошёл к черте, которая была не что иное, как черта дозволенного. Шёл 1966 год. Хрущёвская оттепель постепенно переходила в заморозки. Симонов колебался. Как было идти дальше, если, кажется, всё пошло назад.

Не будем забывать, Симонов начинал в 30-е годы. Колебания литературы, сказавшиеся в его писаниях, во многом должны были предопределить лицо тех, кто вслед за ним вошёл в литературу из окопов войны. И не только из фронтовых траншей, но и из разорённой русской деревни.

Эти писатели не только вошли, но и преодолели то, что их предшественникам, в частности, Константину Симонову, не дано было пре-
одолеть. Это преодоление дало ход к освобождению от страха, который жил в поколении, начавшем печататься в тридцатые годы.

Пограничную полосу между государственной литературой и самой жизнью, несмотря на охраняющие её заграждения, надо было перейти и оказаться в чистом поле, а не на разрешённом пространстве.

В первую нашу встречу я понял, что Симонов остановился там, где нужно сделать последний шаг. Он всегда тормозил здесь, сознавая, что по ту сторону черты его ждёт, может быть, полная перемена жизни. Кажется, его отделяли от пересечения границы какие-то метры, но они были подобны западне.

Будучи от природы фактографом, а не мыслителем, он мог добавить к уже сказанному новые факты, увеличить их количество, но провести историю через человека было выше его сил. Все его герои – движущиеся модели идей, они внутренне не меняются – меняется лишь обстановка.

Я почти склонял Симонова к тому, чтобы он ступил туда, куда никогда не решался ступить. Он это понял, и это ему не понравилось. Не понравилась ему и моя статья в «Литературке», где я рассказал о встрече с ним. На публикацию он не откликнулся.

Прошло четыре года, и вышел роман Симонова «Последнее лето». В нём не было ни особистов, ни усталости армии, ни критики Ставки. И – ничего от прежних идей автора. Действие Симонов перенёс в 44-й год, избавив себя от тяжести изображения конца войны. К тому же честные намерения Симонова уже были не нужны. Изменилось время, изменился и он. Он не нашёл ничего лучшего, как убить Серпилина случайным осколком. Инстинкт конъюнктуры сработал почти автоматически, выведя его на нужные рубежи.

Начались 70-е годы. Как во время артподготовки, над головой Симонова прошумела сильная звуковая волна. Она прошумела и ушла вперёд. Уже были опубликованы: «Крик» и «Убиты под Москвой» Константина Воробьёва, «На войне как войне» Виктора Курочкина, «Пядь земли» Григория Бакланова, «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» Юрия Бондарева, «Мёртвым не больно» и «Сотников» Василя Быкова, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, «Красное вино Победы» Евгения Носова. Это была не симоновская, сверху утверждённая война. Без уходов от страшного, непоправимого.

«Последнее лето» читали уже вяло. Голод на правду, кроме названных книг, утолял самиздат. Начиналась иная пора, и Константин Михайлович искал в ней место. Не получалось.

На войне у него родились стихи:

Опять мы отходим, товарищ,

Опять проиграли мы бой,

Кровавое солнце позора

Заходит у нас за спиной.

Эти строки и сейчас ранят душу. Говорят, он был храбр. И удивлял своей храбростью военных.

Говорят, что на праздновании своего пятидесятилетия Симонов сказал, что не будет писать так, как писал раньше (правда плюс полуправда), и сожалеет о своих страхах прошлых лет. Но уже появлялись романы Фёдора Абрамова, «Судьба человека» Шолохова, повести и рассказы Шукшина, Евгения Носова, Распутина, «Привычное дело» Белова. Уже Солженицыну была присуждена Нобелевская премия. Всё это было до 70-х и в 70-е годы.

Но Симонов по-прежнему оставался в 40-х.

Я никогда не любил его стихов (по большей части зарифмованная проза), но «Жди меня» и «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» приросли к памяти, как собственная жизнь. Как-то один поэт, тоже, как и Симонов, фронтовик, сказал мне: «Неужели ты не видишь неправды в строчках: "Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня?.." Сын может поверить, жена может поверить, но мать – никогда!»

Пожалуй, он прав. Но во время войны никто не обратил на это внимания. Солдат тосковал по женской любви – Симонов выполнил заказ его сердца. Нужно было воспевать армию – он воспевал армию (поэма «Суворов», «Ледовое побоище»), надо было дать народу что-то интимное, лирическое, что тоже входило в замыслы партии, – он писал о любви («Пять страниц», «Первая любовь», «С тобой и без тебя»).

Тут ему позволялось даже то, что не позволялось другим. «Мы лежали с тобой в постели…» – писал Симонов, и читатель вздрагивал. Но его фантазия тут же пресекалась. Автор продолжал: «…и думали о чём-то не постельном». В любовных стихах он был житейски близок, телесен и аполитичен. При запрещённом Есенине они казались откровеннее.

Да, он *первым* в «Живых и мёртвых» написал об отступлении, окружении и провалах в начале войны. Он *первый* выступил с осуждением повести Ильи Эренбурга «Оттепель», где хрущёвское «потепление» трактовалось как настоящая весна. И он *первый* занёс руку на Сталина в романе «Солдатами не рождаются». И вновь *первый,* поняв, что Хрущёв хочет рассчитаться со Сталиным, превознёс повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Написанная им рецензия была напечатана в вечернем выпуске «Известий», *опередив* на одну ночь установочный отклик В. Ермилова в «Правде».

Но политический ветер меняет направление, и в 1973 году Симонов подписывает письмо против Солженицына.

Можно вспомнить и более далёкие времена.

1949 год. Идёт борьба с космополитизмом, Симонов делает на пленуме Союза писателей основной доклад. Не удовлетворившись им, пишет пьесу «Чужая тень», где громит советских учёных – поклонников Запада.

1954 год. В Ленинград приезжает группа английских студентов. Студенты спрашивают на встрече с писателями, согласны ли те с докладом Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Ахматова отвечает, что она с критикой согласна. Зощенко отвечает: «Нет». Из Москвы прибывает группа писателей во главе с Симоновым. В Доме Маяковского созывается собрание. Симонов дирижирует расправой над Зощенко. Того вызывают на трибуну. Зощенко говорит, что никогда не признает себя подонком. «И вообще, – добавляет он, – жить мне осталось недолго», – и уходит со сцены. Поднявшийся из президиума Симонов кричит ему вслед: «Товарищ Зощенко бьёт на жалость». Собрание клеймит отщепенца, и только две руки поднимаются в его защиту.

Что оставалось Симонову делать в конце 60-х? Он стал собирать и печатать свои военные дневники. Хрущёвской весне окончательно пришёл конец. А литература уже не могла разогнуться, вновь подставив спину под тяжкую ношу цензуры и слежки. Симонов почувствовал, что его относит в запас.

В 1965 году я ушёл от него в полной уверенности, что больше мы не встретимся. Но жизнь судила иначе. Всю осень и зиму я работал над книгой о Симонове. Я решил назвать её «Цена долга». Мне хотелось развить разговор, который начался в доме у метро «Аэропорт». Книгу зарезали. Рецензент А. Бочаров написал, что я «преувеличиваю отрицательное значение культа личности».

Симонов тем временем стал печатать свои военные дневники. Они печатались выборочно, ибо полную публикацию ему не разрешали. Говорили, что если эти дневники выйдут, мы узнаем нечто необычайное о войне.

Часть из них всё же удалось опубликовать, и отдельные, очевидно «лояльные», главы были собраны в тонкую книжку. Я прочитал её после того, как неожиданно наткнулся на неизвестную мне повесть Симонова «Лель». Я убеждён, что и сегодня эта повесть Симонова незнакома читателю. Она была опубликована в журнале «Огонёк» (ноябрь 1957 года) и больше нигде не перепечатывалась.

Время появления её и сам факт её написания весьма примечательны. Симонов писал «Леля» в Ташкенте, куда перебрался после печальных событий, связанных с публикацией романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Роман был напечатан в «Новом мире» (главным редактором которого тогда был К. Симонов) в номерах 8–10 за 1956 год. А в ноябре того же года в Будапеште вспыхнуло восстание против «советской оккупации». Восстание было подавлено, а когда стали искать его вдохновителей, то обратили внимание на будапештский клуб интеллигенции, носивший имя «Клуб Петефи».

Интеллигенция никогда не была фаворитом власти: поощрялись ею только покорные. А тут – почти в одно время с событиями в Венгрии –
на страницах журнала «Новый мир» печатается роман, где главный герой – интеллигент, изобретатель, который не может пробить брешь в номенклатурном бетоне и дать жизнь своему изобретению.

Идеологи быстро связали два этих факта – восстание в Будапеште, «Клуб Петефи» и ажиотаж вокруг романа «Не хлебом единым». Симонов был снят с поста главного редактора. Чтоб не мозолить глаза, он укрылся в Ташкенте. Повесть «Лель» была написана тогда, когда ему необходимо было «оправдаться» за печатание Дудинцева.

Симонов захотел прочитать мою книгу о нём. Я принёс ему рукопись и через некоторое время вновь оказался в квартире у метро «Аэропорт».

Он листал рукопись (на полях виднелись его пометы, сделанные красными чернилами) и что-то говорил по ходу дела. Но на одном месте он задержался, и я заметил, как лицо его покрылось краской. То было место, где я упомянул о его повести «Лель».

Вот что я написал об этом: «В симоновских дневниках 42-го года записан случай, который произошёл с ним в Феодосии. Освободив город, наши бойцы захватили его бургомистра – бывшего директора винного завода. Этого директора К. Симонов в "Леле" превратил в писателя. Он заставил его говорить о "свободе творчества", о "свободе индивидуальности". Писателя этого и звали Лель. После 1956 года он стал писать письма герою дневников Лопатину (альтер эго Симонова) и требовать "реабилитации". В повести был намёк: надо ещё разобраться, кто такие реабилитированные. Страсти тех лет совершили насилие над правдой симоновских дневников» (конец цитаты).

«Мне не надо было этого печатать», – сказал он, подняв глаза от рукописи.

На этот раз мы говорили дольше, чем в первую встречу. Симонов завёл меня в смежную с кабинетом комнату, где на полу в папках лежали его военные дневники. Ему так и не удалось их полностью опубликовать. Я полистал некоторые страницы. Геркулесов труд. Тысячестраничная летопись войны. Всё сбережённое от тех дней, которые, кажется, канули в Лету.

Он не знал, что с ними делать. Всё такой же знаменитый, моложавый, красивый, он был растерян. Похоже, впервые он не мог угадать, куда склоняется время. Поражённый свидетельством его беспрестанного труда (говорю о папках на полу), я почти утешал его. Я считал, что Константин Симонов может позволить себе несколько лет не печататься. Я тогда не понимал ещё, что он органически не способен к молчанию, к какому-то, пусть и недолгому, перерыву в печатании. Он был писатель минуты и, я думаю, в подсознании ощущал, что минута –
и есть его век. Годы забвения, ни одной книжки, ни одной пьесы, ни одной статьи – это было не для него. Он должен был присутствовать здесь и сейчас.

Когда я сослался на Булгакова, который пятнадцать лет не видел в глаза вёрстки, Симонов тут же, будто ожидая этого примера, ответил: «Ну, Булгаков же написал пьесу "Батум"!» Да, Булгаков написал пьесу о Сталине, но её писал «арестант», как Булгаков сам называл себя, арестант, желающий выйти на свободу. Симонова же назвать арестантом было никак нельзя.

Позже его военные дневники появились на свет, но не стали событием. Временное должно принадлежать своему времени. Переходя в другое время, оно теряет в цене.

А известный циник, бывший заместитель Симонова по «Литературной газете» и «Новому миру» Александр Кривицкий говорил мне на дорожках Переделкина: «Симонов сверяет показания дневников со сводками Совинформбюро, считая последние исторической реальностью.
Смеху подобно! Эти сводки сочиняли мы, работники Агитпропа, и, чтобы не ранить душу народа, делали с картой что хотели: отодвигали, придвигали фронт, а то и просто тыча в неё пальцем, определяли, где наши, а где враг».

Симонов, в отличие от Кривицкого, не был циником. Он старался верить в то, что делает. Конечно, самый чистый период его жизни была война. Тут уже не следовало притворяться. Тут он был не вымышленный, а настоящий, были понятные «наши» и понятные «не наши».

Поэтому, о чём бы он ни писал, он возвращался к годам, проведённым на фронте. К прекрасным мгновениям единения перед лицом смерти. В середине 70-х Симонов вновь обратился к той поре и стал собирать на телевидении солдат Великой Отечественной. Немало имён он просто вызволил из забвения, и за это стоит снять перед ним шляпу.

Вообще в жизни он был гораздо более человечен, мягок, даже открыт, чем в своих писаниях. Казалось, что литература для него – одно (государственное дело, где надо всё выверять, не бросаться головой в омут), а жизнь, люди, отношения к близким и дальним – другое.

Когда я в конце 60-х пришёл работать в «Литературную газету», там почти с нежностью вспоминали о Симонове. Будучи главным редактором, он, в отличие от своих преемников, всех знал в лицо, приезжая на работу, обходил редакцию, здоровался. Он многим помог – кому с квартирой, кому с телефоном, а кому – делая это инкогнито, деньгами. Вне политики он был человек, а когда дело касалось её – солдат партии.

Это портрет не только Симонова, но и многих людей того времени.

В сентябре 1979 года я был в Карелии. Собирали с друзьями грибы. Отъезжая, услышали по радио сообщение, что умер Симонов. В сердце у меня что-то сжалось. Я вспомнил о том, о чём вам только что рассказал, и мысленно сказал его тени: «Прощай».

И тогда передо мной всплыл затаённый смысл этого русского слова. И в памяти воскресли симоновские стихи:

Мы, пройдя через кровь и страдания,

Снова к прошлому взглядом приблизимся,

Но на этом далёком свидании

До былой слепоты не унизимся.

На поле под Могилёвом, где была окружена и вышла из окружения дивизия Серпилина, есть памятный камень. На этом месте по завещанию Симонова развеян его прах. Здесь на его глазах легли в землю солдаты 41-го. Теперь, как и когда-то, он вновь с ними.